

НЕСКОЛЬКО ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Мне очень трудно делиться своим впечатлением о пребывании в Германии, — вот почему: Я всю жизнь называл себя западником; неоднократно писал я о скудости славянофильства; явления так называемого «русского духа» мне были враждебны; я чужд был всех привкусов национального самодовольства; переживания пресловутого настроения «русские шапки — де закидают Европу» — претили мне; между тем: вывод моих впечатлений от кусочка Европы теперешних дней и сравнение этого кусочка с Россией, боюсь я, для многих покажется самодовольством таким; мое двухлетнее пребывание в Берлине окрашено теньвыми какими-то настроениями; и сравнение их с настроением от работы и жизни в России 18–21 годов вызывает сравнение тени и света. Да, светом окрашено мое пребыванье в Москве, в Ленинграде недавней эпохи. А пребыванье в Берлине окрашено тенью.

Я оговариваюсь: я говорю не о трудных условиях жизни в холодных, в голодных, в разбитых квартирах, не о явлениях несения ежедневных тягот, а о чем-то другом; среди голода, холода, тифа, неосвещенных Москвы, Ленинграда я чувствовал свет: свет победы сознания, расширенного и парящего над телом, природой животного; многие грелись проблемами судеб человечества, зажигая вселенские мысли в своей голове, затепляя вселенские чувства в сердцах; и — в руке конденсируя волю; и — вспыхивал свет просветляющий, нам освещаая, осмысливая кризисы жизни; и сдвиг сознания высекал нечто новое.

Не раз видел я в освещенных, роскошно обставленных ресторанах Берлина грустнейшее угасание сознания, перегруженного благополучием косности и разбивающегося при выходе из ресторана на улицу, посылающую буржуа свои грозные тени; чувствовал я на себе угашение света, который светил мне в России; меня обступали явления парализованного сознания, суженного и падающего в объятия животной природы; тогда весь Берлин выступал предо мною «обителью царства призраков».

Кроме того: каждый знает из вас то явление, которое психофизиологи вместе с Вундтом пытаются охарактери-

зовать как явление аналогии ощущений, когда звук переживается ярко, определенно окрашенным или цвет предстает как звучащий; как часто мы все, попадая впервые в еще незнакомый нам город, подыскивая характеристику города, прикрепляем ее к одной малой, типичной черте, превращающейся в лейтмотив, сопровождающий всюду нас, когда, например, выступает один яркий цвет из градаций многих цветов; и с ним связывается внутреннее восприятие — города, страны, класса; в том смысле могу говорить об окраске страны или города: так, когда-то мне Мюнхен возник голубым; так, Тунис мне стоит снежно-белым; определенно коричневым возникает Каир; и возникает Берлин серо-бурым, с коричнево-серыми и зловещими полутенями атмосферы, его обволакивающей; эта последняя рисовалась мне фоном картины, изображающей царство теней древних греков, или мрачной обителью подземного мира Египта, где строгий Озирис чинил над усопшими страшный свой суд.

Этот атмосферой окрашен Берлин.

Он, весною отвеяв зеленым листом, нестерпимо жарит ужасною, бурюю копотью летом, и серая буроватая мгла повисает над ним осенью и зимами; шлепают под ногами такие же бурые, мокрые от дождя тротуары; и справа и слева уходят в томительно бурые ряды зданий десятков безвкунейших штрассе, перечисляющих имена Гогенцоллернов, Габсбургов и Гогенштауфенов, — не параллельно бегущих, а образующих те же звезды пересечений, где в центре пересечения увидите тощенький скверик с сидящей все той же старушкой, с той же собачкой, сидящей перед нею и задирающей нос на безвкунейший монумент, напоминающий груды тяжелой посуды; на всех углах улиц — кафе, рестораны и дилэ, и неперменная надпись пивной, прославляющей вывеску фирмы; здесь — Patzenhofer, там — Schultheis, Berliner, Kinde и так далее (так, на одной только Victoria-Luisen Platz насчитал до 13 заведений подобного типа); и все это — в бурой, тоскливейшей дымке; и бурые, скучные, пресные бюргеры спешно бегут в буроватых пальто вдоль тех улиц, вдоль скверов, вдоль площади и проваливаются в дыру, зияющую посредине, чтобы выскочить где-нибудь (может быть, в отдаленном квартале) из точно такой же дыры; и увидеть опять-таки постамент, сквер, старушку перед ним, ее пса; и нестись вдоль такого же буроватого, пренелепого ряда домов

в буровой томительной мгле, под буреющим небом, над бурым асфальтом.

Мне помнится, — кто-то назвал небо этого города нежно-сиреневым: может быть, этот оттенок бывает. Не знаю: не видел.

На лицах — растерянность, а в глазах суетливое недоумение испуга, досады; досада на — настоящее; и испуг перед будущим; марка — упала опять; коммунисты шевелятся здесь; Людендорф — угрожает оттуда; нельзя не сознаться: советская власть импонирует; и — хорошо, что Мальдон там кого-то с Востока встречает; однако: быть может, — Пуанкаре завтра, может быть, сменит на милость свой гнев; а может быть, — выручит Англия. Так меж «постольку, поскольку», недоуменно, испуганно ерзают глазки бегущих берлинских мещан по безвкунейшим августейшим проспектам и улицам: Кайзер Аллэ, Бисмарк-штрассе, Гогенцоллернплац, Гогенштауфенштрассе, Вильгельмштрассе и Фридрихштрассе. А у меняльных киосков — хвосты; то ауслендеры*.

О, ужаснейший, серый и гаснущий город.

И кажется: эти бегущие буржуа среди мороков суетливейшей и бессмысленной жизни заспали свой собственный свет; и вот уличная суета, регулируемая образцовою палочкою зеленого полицейского, перелетанье трамваев, стоянье авто (кто же может на них теперь ездить), кричанье газетчиков «Бе-Цетт, Моргенпост», — регулируемая в образцовом порядке текущая бестолочь бреда; и кажется: жизнь, охватившая вас, в ряде месяцев организованно опускается вместе с бурными зданиями, небом над ним, тротуаром, трамваем, — на дно, под глухое гуденье фокстротов, под дикие звуки Джазбанда**, крикливо летящие из ближайшей кофейной плясульни.

И вы начинаете, вопреки всем протестам сознания и мировым мыслям, живущим в вас, стаскиваться организацией и порядком в то темное дно.

И тут для меня возникают вопросы: неужели же прямые наследники великой немецкой культуры — ее музыки, поэзии, мысли, науки — теперь отложились от нее, одушевляемы не зовами Фихте, Гегеля, Гете, Бетховена, а призывом фокстрота. И неужели зовет человечество вовсе не свет

* Иностранцы. *Здесь и далее примечания автора.*

** Особый набор из барабанов, колоколец и дощечек.

из грядущего, а далекое дикое прошлое в образе и подобию негритянского барабана; и мне, очень долго воспитывавшемуся на традициях культуры Германии, за эти месяцы пребывания в Германии приходилось не раз с недоумением утверждать, что великой культуры как будто и нет в проявлениях жизни предо мной мелькавшего немца и что нам, русским, в данном случае новому слову культуры в Германии невозможно учиться, а остается заимствовать приобретения ее недавнего прошлого: технику и науку.

Мне трудно касаться и умственного кругозора тех множества русских, печальнейше погруженных во мрак буро-серого города, печально месяцев бурду изжитого, умершего прошлого, за пять лет не создавших ни в сфере искусства, ни в сфере искания мысли ничего оригинального, утверждающих буро-серое политиканство, зачитывающихся страницами буро-серых романов Краснова, провозглашающих поэзию Саши Черного национальной поэзией.

Да, эмигрантов я видел; со многими я общался в беседах; среди них, ну, конечно, есть всякие люди, как понимающие бесплодицу «э м и г р а н т щ и н ы», так и вовсе не понимающие ее; не хочу нападать на людей; не хочу говорить об эмигрантах, касаясь эмиграции. За границей писал положительно я о творимой культуре в Советской России, с максимальной резкостью я высказывался о культуре «берлинской» России — в Берлине; и потому-то в Москве мне не хочется останавливаться на явлениях угашения творческих импульсов среди русских Берлина, где все новое, свежее создано только выходцами из Ленинграда, Москвы, то есть временными гостями Германии.

Я пройду мимо личностей и постараюсь провести перед вами свой «м и ф», или сказ о Берлине: сожму в фигуральные образы эту обитель тяжелого «царства теней».